

Элина Васильева

Даугавпилс, Латвия

ЛИТВА В КНИГЕ ЭФРАИМА СЕВЕЛЫ «МОНЯ ЦАЦКЕС — ЗНАМЕНОСЕЦ»

Еврейско-литовский текст — явление уникальное в художественной литературе. Это текст, который опирается на оригинальный историко-культурный материал — специфический мир литваков, уникальный мир еврейства, сформировавшийся еще в эпоху Великого княжества Литовского. Специфика литваков не раз рассматривалась авторами ряда научных публикаций (Израэлис Лемпертас¹, Авраам Карив²). В художественной литературе последних десятилетий еврейский мир Литвы наиболее ярко представлен в прозе Григория Кановича³.

Возможно, проза Эфраима Севелы не представляет собой феноменального явления в истории русско-еврейской литературы, но его «еврейский текст» — это еще один пример литературного моделирования истории еврейского народа. Критики не раз упрекали Севелу в эпигонстве, эксплуатации стилистики Эренбурга, Шолом-Алейхема, Бабеля⁴. Тем не менее, стилистический цитатный ряд не отрицает самобытности его художественной модели.

Литературный «литовский текст» Севелы не столь обширен. Более известным его еврейско-литовский материал оказывается в кинематографе (снятый в 1990 г. фильм «Попугай, говорящий на идиш»). В данной же статье речь пойдет об одной из книг Севелы — книге романного типа «Моня Цацкес — знаменосец».

Действие книг Э. Севелы, помимо Литвы, разворачивается в разных пространственных координатах, связанных с судьбой самого писателя, — это Россия, Белоруссия, Израиль, Америка. Литва в этом списке занимает особое положение. Это пространство, проникнутое довоенным прошлым, историей евреев до Холокоста.

Литовский текст книги «Моня Цацкес — знаменосец» определен самой сюжетной линией: судьба 16-й Литовской дивизии Красной армии на фронтах Второй мировой войны. Но «литовская» в названии дивизии ставится под знак мифологического: «В самый разгар войны с немцами Сталин дал приказ прочесать все уголки России и найти литовцев, чтобы создать национальную литовскую дивизию. Как ни старались военкоматы, кроме литовских евреев, бежавших от Гитлера, ничего не смогли набрать. Пришлось довольствоваться этим материалом. Литовских евреев извлекали отовсюду: из Ташкента и Ашхабада, из Новосибирска и Читы, отрывали от причитающих жен и детей и гнали в товарных поездах к покрытой толстым льдом реке Волге»⁵. Пространственные несуразности заданы самим автором: он явно играет определением «Россия» (хотя номинация «Советский Союз» тоже появляется в книге): Ташкент и Ашхабад превращаются в российское пространство, а евреи из Литвы становятся логичной заменой литовцам. В сознании Севелы акцентируется оппозиция «большая Россия — маленькая Литва». При этом история 16-й дивизии становится свидетельством того, как пространство Литвы разрастается до мифологических размеров.

Литва в сознании советского командования существует, в первую очередь, как граница. Незнакомый мир Литвы экзотичен. Литовские евреи являются носителями непонятной буржуазной культуры. Они, несмотря на свой жалкий и несуразный вид в военных условиях, остаются носителями культурного наследия. Их познания, казалось бы, в тривиальных бытовых вещах ставят командиров в невыгодное положение. При этом Моня становится наиболее ярким представителем этой заграничной культуры. Он парикмахер, и это делает его положение в полку особенным: Моня становится личным парикмахером командира полка полковника Штанько, которому не надо советского барахла, а нужен парикмахер — высший класс, заграничной выучки. Обязанности парикмахера постепенно переплетаются с обязанностью полкового знаменосца. Кроме того, Моня — яркий представитель культурного буржуазного мира и потенциально в состоянии нести ценности цивилизации в ряды советского командного состава. Заграничное сознание Мони постоянно подчеркивается автором. Именно этому посвящена новелла «Туалетная бумага». Фабульная линия новеллы выстраивается как диалог, происходящий между старшиной Качурой и Монею в захваченном немецком офицерском блиндаже, где старшина обнаруживает туалет с прибитым к стене рулоном туалетной бумаги:

— Ты же с Литвы. Так? А это — почти Европа. Вот и растолкуй мне, что мы тут видим?

— Туалет, товарищ старшина. Уборная!

— Без тебя знаю. Грамотный. А вот на кой хрен они тут такую ценную бумагу хранят? А? С какой целью?

И хитро косил глаза на Моню.

— Это, товарищ старшина, специальная бумага.

— Для какой надобности?

— Чтоб задницу вытирать.

Старшина сдержался и не рассмеялся такой шутке — он не позволял себе вольностей при подчиненных.

Насколько он знал, а уж он на своем веку всего повидал, задницу вытирают газетой, оторвав от нее кусок и крепко размяв его в ладони. А ежели нет под рукой газеты, то пользуются указательным пальцем, после чего палец вытирают об траву, если таковая произрастает на дистанции вытянутой руки, или же об стенку.

— Значит, задницу вытирают таким дефицитным материалом? — прищурился на Моню старшина.

— Так точно! — уверенно подтвердил рядовой Цацкес.

— Умный ты, я погляжу, — насмешливо покачал головой Качура. — А для чего, скажи на милость, тогда газета?

Моня задумался и уже не совсем уверенно ответил:

— Читать...⁶

В военном пространстве, в пространстве Красной армии, евреи, а в особенности евреи из Литвы, — элемент чужеродный. При этом антисемитизм в книге «Моня Цацкес — знаменосец» не является стержневой проблемой. Как раз наоборот, об антисемитизме (старшины Качуры, полковника Штанько) говорится вскользь, бегло, как о чем-то привычном и само собой разумеющемся. Тем не менее 16-я дивизия становится своего рода диковинкой. Чужеродность солдат этой «национальной дивизии» как бы возведена в квадрат: они евреи, да еще и из Литвы. Положение «да еще и из Литвы» постоянно акцентируется. Они литваки,

особые, и поэтому прижиться в советских условиях им гораздо труднее. Литовские евреи вызывают явно враждебное отношение командного состава еще и потому, что пытаются отстоять и сохранить то самое «свое» в чужом и враждебном им пространстве. В голодных условиях пытаются соблюдать кашрут, а реб Мойше готов умереть с голоду, но не притрагивается к трепному. Удивительным образом, но реб Мойше добьется того, чтобы ему разрешили носить бороду («Рядовому составу растительность на лице не положена. Но раввин как руководитель синагоги может быть приравнен к старшему командному составу армии. А посему — бороду раввина сохранить»⁷.) Во время передышки между боями под русским городом Орлом евреи находят возможность отметить субботу и прочитать субботнюю молитву даже вопреки воле политрука Каца.

Наконец литвакам удается сохранить самое главное — свой язык. Идиш становится своего рода барьером, за которым евреи спасаются от советской реальности. В сознании литваков очень отдаленно существует устав («Никаких идиш! — рассердился Кац. — Устав Красной армии написан по-русски. Еврейского устава пока еще нет... и не будет»⁸.) Сказанное по-русски вообще остается за пределами внимания и интересов литваков. Для высшего же командного состава идиш (в определенные, нужные им моменты) может стать аналогом национального языка, под которым, если следовать названию дивизии, подразумевается литовский. Литвак, говорящий на идише, может обвести вокруг пальца любого партийного работника. Идиш приходит на помощь, когда необходимо придумать строевую песню для прохождения маршем перед высшим командным составом. В песне «Марш, марш, марш! Я иду в баню...» заменяется одна-единственная строка, с тем чтобы в национальной песне прозвучало имя товарища Сталина («Сталин меня поведет»).

Строевая песня становится гордостью старшины Качуры и заслуживает высокой оценки командования: «У старшего политрука Каца потемнело в глазах. Он-то знал идиш. Но старшина Качура, не чуя подвоха, упругой походочкой печатал шаг впереди роты и, сияя как начищенный пятак, ел глазами начальство.

Военное начальство на трибуне, генеральского звания, в шапке серого каракуля, сказало одобрительно:

— Молодцы, литовцы! Славно поют!

А партийное начальство, в шапке черного каракуля, добавило растроганно:

— Национальное, понимаешь, по форме, социалистическое — по содержанию...»⁹.

Попытка литваков во всем сохранять свое, индивидуальное не может нравиться, но при этом даже самые ярые антисемиты не в состоянии этому помешать.

Следует отметить, что мир литваков в книге Севелы не является однородным. Есть противостояние и внутри этого мира. В системе персонажей книги особо выделяются политрук Кац и начальник штабного узла связи старший сержант Цили Пизмантер. Кац — заядлый враг Мони и других литваков, потому что его партийная ненависть прежде всего обращена на еврейское местечковое прошлое: он, сам каверкающий русские слова, яростно следит, чтобы никто не произносил ни слова на идише, он, местечковый еврей, фанатично преследует своих земляков — раввина Береловича и шамеса (синагогального служку) Гаха. Цили же, наоборот, связана с любовной линией повествования — именно в нее влюбляется несчастный Фима Шляпентох. «Перелицовка» Каца и Цили связана с 1940 г., ког-

да большая история в который уж раз переворачивает уклад литовского мира. И Кац, и Циля почувствовали свою силу и власть. Но перестав быть своими среди литваков, они, прежде всего по причинам своего национального происхождения, не стали своими в огромном российском пространстве.

Пространство России изначально задано как состоящее из множества топов — отдельных городов (подобный пространственный принцип возникает в романе Ф. Горенштейна «Псалом») ¹⁰ — множество городов — и становится свидетелем грандиозности этого государства). Но постепенно, ненавязчиво, по ходу знакомства с героями книги множится перечисление литовских топов. Именно они и являются для героев настоящими, а «уголки России», ставшие для них временным убежищем, отодвигаются на второй план. Повествование демонстрирует фактически всю возможную литовскую географию: Ионава, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Рокишкис, Вильно, Паневежис. Причем в сознании героев важен статус этих городов до войны, а точнее, граница проходит где-то по состоянию на 1939 г. Единственным исключением в этом ряду становится Рокишкис (его представляет сержант Циля Пизмантер), который представлен колоритной сценой физкультурного парада. Благодаря колоритности героев за каждым городом закрепляется своя доминанта: Каунас знаменит своим зоопарком, Клайпеда — школой парикмахеров фрау Тиссельгоф и кондитерской Зингера, Шяуляй слава синагогой и ее кантором реб Фишманом.

Особый статус приобретает Вильно (Вильнюс), который фактически выпадает из ряда литовских городов. Вильно представляет вечный неудачник Фима Шляпентох, который попадает в самые несуразные ситуации и тянет за собой Моню Цацкеса. Перенесение на Фиму литовского ярлыка прежде всего сказывается на написании и произнесении (а точнее переводе с идиша) фамилии Фимы: из Шляпентоха он превращается в Шляпентохеса ¹¹, что задевает его самолюбие и служит причиной комического бунта маленького человека: «Он категорически потребовал, чтобы его называли и числили в документах Шляпентохом, а не Шляпентохесом. Потому что он — не литовец и не литовский еврей, а в Литовскую дивизию попал в качестве жертвы политических махинаций сильных мира сего. Он родился и провел всю свою жизнь в городе Вильно, который при его рождении был русским городом и входил в состав Российской империи. Когда Шляпентоху исполнился один год, Вильно стал польским городом. Когда же ему, Шляпентоху, исполнилось двадцать лет, Сталин и Гитлер разделили Польшу, и Советский Союз передал Вильно литовцам, чтоб подсластить пилюлю грядущей оккупации. Не успел Фима стать литовским гражданином, как советские танки вошли в Ковно (Каунас). А еще через год и Ковно, и Вильно были заняты немцами. И теперь он, рядовой Шляпентох, воюет за освобождение своего родного города, хотя точно не знает, в чьих руках окажется Вильно после войны. Посему он требует, чтобы его фамилия писалась и произносилась, как это принято по-русски и по-польски» ¹².

Вильно — особый город в восприятии Севелы. В массовом сознании именно Вильно в большей мере, чем другие города, связан с еврейским текстом, и в культурном сознании эта связь традиционна. Во многих отношениях традиционна (именно по отношению к еврейскому тексту) и Фима Шляпентох — лицо Вильно: несуразный, беспомощный на фронте, да и вообще в житейских ситуациях. Но в сравнении с модельностью Мони Фима отступает на второй план. Именно Моня помогает Шляпентоху выкручиваться из затруднительных ситуаций, про-

являя еврейскую смекалку и придерживаясь жизненного правила: в любой ситуации прежде всего быть евреем. Яркое свидетельство тому — поход за «языком» и встреча со случайно оказавшимся в немецкой армии в чине обер-ефрейтора 316-го пулеметного взвода Залманом Зингером. Залман и Моня находят друг в друге родную душу, поскольку оба связаны с пространством Клайпеды (у отца Залмана там была кондитерская, Моня учился там в школе парикмахерского искусства). В военном хаосе такое совпадение выступает как явно роднящее начало. Фима же оказывается явно лишним в решении ими проблемы, поскольку выпадает из системы землячества, более того, Моня подчеркивает его виленское происхождение: «Таких в Клайпедe не держали, — отмахнулся Моня. — Он — из Вильно»¹³.

Еще один город, занимающий особый статус в литовской топонимике Севе-лы, — Паневежис. Пространство Литвы в книге как настоящее место действия в повествовании отсутствует. Единственный город, описанный в романе как место действия, — это Паневежис. Это единственный литовский город, заявленный как реальный топос, в отличие от остальных, воспроизведенных только в воспоминаниях героев. Это город, прошедший испытание войной. В аналогичном контексте упоминается также Шяуляй, где идут ожесточенные бои, во время которых убит лейтенант Борхес. Но посещение Монеи родного Паневежиса оказывается подчеркнутым автором. Война уже прокатилась через Паневежис, и Моня будет наблюдать лишь ее следы. К тому же военная дорога Мони именно через родной город не пролегает. По дороге в Восточную Пруссию контуженый Моня отпрашивается у начальства, чтобы узнать о судьбе своей семьи. Лаконичное авторское определение дает полную характеристику свершившейся здесь трагедии: «Смотреть было нечего». Судьба Мониной семьи — типичная судьба евреев во время нацистской оккупации. При этом обращает на себя внимание значимая оппозиция. Монин дом сгорел — родное, домашнее пространство уже не существует. Зато совершенно нетронутой оказывается Мониная парикмахерская, более того, новый владелец предлагает вернуть все это имущество. Уничтоженный дом и новенькие, почти нетронутые довоенные кресла в салоне.

Такое противопоставление — свидетельство прервавшегося жизненного уклада. Моня оказался в чужом городе. «Он как потерянный бродил по чужим теперь улицам города, где родился и прожил все свои годы. Он не встретил в Паневежисе ни одного еврейского лица, не услышал звука еврейской речи. Это было страшно. Невероятно. В какой-то момент Моне показалось, что на свете больше нет евреев. Убили всех до единого. И только он один почему-то жив и передвигает ноги»¹⁴. Уничтожен не только Паневежис, уничтожен весь мир прошлого, мир еврейской Литвы. Именно за этот убитый мир и собирается мстить Моня. Его план мести связан с поиском аналога уничтоженного еврейского мира: «В первом же немецком городе они пройдутся по домам и разведают, где обитает немецкая семья такого же состава, как семья Цацкесов в Паневежисе. Чтоб были мама и папа — в летах, но не старые. Две дочки, желателно тринадцати и пятнадцати лет. Какие-нибудь Гретхен и Лизхен. И чтоб непременно был мальчик. Пининых лет. Скажем, Фриц или Ганс. Моня раздобыл трофейный кинжал с наборной плексигласовой рукояткой и желобком посередине сверкающего плоского лезвия. Для стока крови»¹⁵. Аналог находится, но вновь возобладает принцип универсальности еврейско-литовского пространства. В испуганной немецкой семье пьяный Моня начинает видеть свою семью. Включается главный

опознавательный знак литваков — Моня начинает говорить на идише, впуская в разрушенный войной мир немецкого городка интимность и тепло своей семьи: «Монин автомат валялся на узорном ковре. А сам Моня, без шинели, сидел за столом под люстрой. Перед ним, окаменев, сидели хозяин и хозяйка, слушая несвязанную пьяную речь. Справа и слева от Мони хозяйские дочки и мальчик с голодным нетерпением тянулись вилками к открытым консервным банкам»¹⁶. Человеческое начало возобладает над чувством мести. Литовский еврей, служащий в Красной армии, в немецком городе находит своеобразную замену своей погибшей семье. Это трагический прорыв из прошлого.

Литовский мир Севелы — это своего рода миф, основанный на авторской памяти. Эфраим Севела, подобно Исааку Бабелю, воссоздает мифологический, несуществующий уже в настоящем, оставшийся только в воспоминаниях мир. Этот мир наполнен бытовым, которое возведено в ранг вечного. Литва — знак идеального пространства, возвращение в которое невозможно, но память о котором дает силы продолжать жить в самых трагических условиях. Это оптимистический прорыв в будущее.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Lempertas I.* Litvakes. Vilnius, 2005.

² *Карив А.* Мой отчий дом, Литва // Галаха, Агада и этика: Сб. ст. Иерусалим, 1991.

³ См.: *Волбикайте Г.* Образ литвака в прозе Григория Кановича // *Ebreju teksts Eiropas kultūrā. Daugavpils*, 2006. С. 226—232.

⁴ *Черненко М.* Красная звезда, желтая звезда. М., 2006. С. 271.

⁵ *Севела Э.* Избранное. М., 1994. С. 102.

⁶ Там же. С. 181.

⁷ Там же. С. 127.

⁸ Там же. С. 100.

⁹ Там же. С. 126.

¹⁰ *Горенштейн Ф.* Псалом. М., 2001.

¹¹ На идише *тохес* — жопа. — *Ред.*

¹² *Севела Э.* Избранное. С. 137.

¹³ Там же. С. 143.

¹⁴ Там же. С. 199.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. С. 201.